

## Диалог: о простоте и понятности

(АНДРЕЙ ТАВРОВ – АНДРЕЙ СЕВЕРСКИЙ)

В начале этого важного диалога Андреем Тавровым была высказана мысль «о простоте и понятности», звучащая так: «Если стихотворение полностью понятно, то оно состоит из слов. Если непонятно или понятно не до конца - то из слов плюс из жизни как сверхсловесного». На одно из возражений читательницы, сославшейся на стихотворения «На холмах Грузии...» или «Я вас любил...», которые вполне могут считаться понятными (что не мешает им быть великими), Андрей Михайлович ответил: «Эти стихотворения состоят не только из слов, а еще из присутствия неартикулируемой ауры. Она-то и непонятна, хоть радостно узнаваема». Здесь-то в диалог вмешался Андрей Северский (Н.Ф. Болдырев), который написал: «Это уж, Андрей Михайлович, никак нет: аура-то у Пушкина как раз и понятна, ибо сердце ее понимает и принимает подобно всякому встречаемому простоудию и прозрачности. Вообще же подавляющее число прекраснейших стихотворений на земле семантически прозрачны. И Басё, и весь наш золотой век, и Гёте; без счету. Противопоставление "понятны - непонятны" лукаво и бессмысленно, ибо для кого, кому понятны? Дебилу или мудрецу, человеку с опытом души или без опыта? Ну и т.д., и т.д.» Такова завязка диалога-переписки.

**Андрей Северский:** Влечение к "непонятности", "смутности" поэзии принес декаданс начала двадцатого века, когда свершилась катастрофа (думаю, по всей ойкумене) резкой потери интереса к содержанию мира (к душе человека, к Богу в ней) во имя бурного интереса к его форме и к формам. Это была, на мой взгляд, воистину космологическая катастрофа, делящаяся по сей день и зашедшая в фазу топи. Почему катастрофа? Потому что индивид вдруг стянул всё внимание к себе, к своей "креативности": мол, а я вот так еще могу! Пошла-поехала самодемонстрация "талантливости" пишущего: мир вступил в фазу неприкрытого нарциссизма. Наш великий Розанов заметил начало этого процесса субъективизации, "креативного сладострастия" еще на примере Гоголя, у которого часто откровенно довлеет форма, прием, а содержание является как бы "жертвой" этой вполне актерской, самодостаточной игры. Содержание как бы подтаскивается к демонстрации формального приема. Далее это (в прозе) пошло к Андрею Белому и Михаилу Булгакову.

Но сейчас, Андрей, немного о другом. Вы настолько поэт, что находитесь внутри своего, уже мощно ословесненного, насквозь метафорического образа мира; я же плыву словно бы снаружи словесно структурированного, скрепленного тысячами ментально-звуковых эманаций потока поэзии. То есть мы говорим как бы из разных точек обзора. Поэтому искусственно сводить к единству наши мнения едва ли плодотворно. Когда хочешь понять нечто достаточно смутное, произвольно "сгущаешь краски", разве не так? Так что, порой "сгущая краски" (в чем мне иногда пеняют), я всего лишь помогаю моему созерцанию смутного целого. Но разве поэты не "сгущают", разве не в этом часть их труда?

Итак, берусь (с позиции "сгущения красок") предположить, что это филологи (филолог в каждом из нас) убили Божий мир, поэты в том числе. Вообще говоря, если не "я" убил Божий мир (Бог и есть единственное подлинное содержание мира), то тогда виновен кто-то, какой-то чужой дядя, а я совсем непричастен к убийству божественного субстрата мира; но разве так бывает: чтоб полная непричастность? Если у директора завода или у актера нет чувства, что это он убил сакральную начинку мира, то разве он прав? Правота Целана в том, что он хотел, мечтал, чтобы все люди, каждый по отдельности, признали свою вину в "растлении мира", чтобы все до одного покаяться и изменились до корня, изменились в одно мгновение). Почему именно филологи,

литераторы (в широком смысле), поэты, люди культуры виновны более других? Помечу снова очень грубо, графически-резко: едва что-то названо, как оно уже умирает. Называние само по себе есть (в мистическом смысле) цинизм. Поэтесса, вовлекающая в одежды стихов свои самые-самые тонкие ощущения и ментальные шорохи, вовсе их не прикрывает от чужих, праздно любопытствующих взглядов (как следовало, если бы она просто полноценно "жила перед Богом"), а обнажает, придает им пряности и товарного лоска; она становится (разумеется, не задумываясь ни о чем) циничным торгашом, убив нечто принадлежащее не ей, разорвав тонкие целомудренные нити (более всего она, пожалуй, неосознанно борется со своим стихийным целомудрием, рвет его на части). Так вот примерно и пал весь наш мир, бывший когда-то островками частных, замкнутых мидгартов, открытых только Неизрекаемому. "Мне близко то, чему не дали имя..." – как писал великий поэт.

Причина нашей цивилизационной Ямы вполне проста: человеки в яростном натиске назвали всё – и тем всё обрушили, вынув из него жизненную силу. Мир захлебнулся в словах, то есть "в цинизме без берегов". Слово несет в себе скрытый цинизм, отчуждение, иронию, комментарий, предательство, продажу. Бытие не подлежит комментарию чистого человека. Покусившийся на это возомнил о себе. Чистый человек не комментирует, а *воспринимает*, то есть отдает человеку или вещи полноту своего внимания, что и есть, как мы знаем, любовь. Одна моя знакомая, хорошо чувствующая поэзию, сказала мне как-то: замужняя женщина и тем более имеющая детей не может быть (настоящим) поэтом. Она должна быть одиночкой как Дикинсон. Если же она все же попытается осуществиться как поэт, то станет монстром для мужа и для детей. Примеров, говорит, сколько угодно. Да и стихи такой женщины не будут истинными, в них будет искаженность. Она неизбежно сломает образ мира тем или иным способом. Любовь, отданная мужу и детям, уже вошла в бытие. Второй, параллельной любви к бытию быть не может. Или – или.

На мой взгляд, поэт нового времени (начиная с серебряного нашего века) словно бы уже не может любить. (Мы живем в эпоху сплошного нарциссизма, в его апогее). Как человек он, может быть, и хотел бы любить, но поэзия, сориентированная на артистическую самодемонстрацию "владения формой", его удушает. Поэтому, Андрей, когда вы говорите о любви в контексте современного поэтического действия, то у меня, извините, невольная улыбка недоумения. Возьмем известнейшие стихи: «Любимая – жуть! Когда любит поэт,/ Влюбляется бог неприкаянный./ И хаос опять выползает на свет,/ Как во времена ископаемых./.....И таянье Андов волеет в поцелуй...» И т.д. Что это? Выражение любви? Ни в одном атоме. Это шикарный словесный дивертисмент, где ни слова спроста, где изысканность и редкостность метафор высчитана. Стихотворение это есть выражение пылкой любви поэта к самому себе. Он славит себя. Это неосознанный нарциссизм и самореклама. И в этом смысле стихи эти отвратительны. Равно как все так называемые любовные стихи Маяковского. Вследствие все того же синдрома нарциссизма отвратительно огромное количество красивых стихов 20 и 21 века. Да, они часто виртуозны и утонченны, но переутонченные духи воняют. Так же обстоит дело с утонченным интеллектуализмом и лексико-стилистической рафинированностью. Всё это финальные стадии нарциссизма. Далее – головой в омут, чтобы "обнять себя любимого".

У меня в ранних стихах была строчка: "назвавший – предал". Не отрекаюсь от этого наблюдения и сегодня. Всё назвать – значит всё предать. Называть что-то следовало бы очень осторожно и крайне редко. Самое дорогое называть не следует. Выраженная, высказанная любовь, начинает умирать. Любимое надо беречь в своем "внутреннем космосе" именно в качестве неназываемого, то есть почти истинно реального. Это и есть то "несказанное", о котором писал Рильке как о всеполноте, о плероме. Названное перестает быть реальным, как выхваченная из океана рыба, нам еще неизвестная. Там она была реальностью, здесь она будет оприходована и, значит, убита, прицеплена к убогим человеческим понятиям. Нам нынешним сложно допустить существование того реального, что не уловлено словами, но что тем не менее существовало бы для нас в

качестве присутствующего, доступного *невербальным* способам общения. Сложно допустить, поскольку мы создали чудовищный перегиб, и наше внимание *к невербальной вселенной* крайне малое и поверхностное. Скажем, даже древние мифы мы трактуем через словесно-понятийную ткань, а ведь они жили в совсем ином, внесловесном хронотопе, сущность которого от нас совершенно закрыта. Трудно ли догадаться, почему мы потеряли контакт с богами...

Да, моя концепция прямо обратна традиционно панфилологической, по которой слово творит: мол, Адам называл вещь, и она начинала бытийствовать. Далее, концепция сакральных букв, фонем, алфавита и т.д. Всё это красиво и весьма льстит современному человечеству, где каждый бездарный политик "созидает миры", а всякий начитавшийся словарей мнит себя демиургом. Но опыт, который мы внимательно обретаем (медленно и скрупулезно) говорит о том, что именно претенциозность *человека говорящего*, ораторствующего (Ленин часто подписывался: литератор) и уничтожила весь сакральный гумус жизни. Генон здесь прав. Правы и великие мифологи, заметившие, что человечество инволюционировало от живого мифопоэтического стиля мышления к логосному, где логос: понятийно-абстрактное мышление, которое и привело нас к катастрофе солипсизма. "Поэзия закончилась" не потому, что в 1970 году Целан прыгнул в Сену (конец поэзии по Владимиру Мартынову), а потому, что цинизм ословеснивания всего и вся, цинизм выворачивания наизнанку (словесные игры) всего и вся дошел до тех пределов, где, с одной стороны, всё красиво говоримое – нескрываясь отвратительно (ибо продажно), а с другой стороны, скромно намекающее на уникально случающееся – по существу никому не нужно. Красноречие в нынешнем насквозь, увы, лживом мире (в мире антиутопии) отвратительно по многим параметрам. Попытки снять глянец с "филологической начинки" современного тонущего корабля пока еще никому не удалось. А если такая попытка и удалась, о ней никто не узнает. Ведь сегодня если ты не дерешь горло, тебя не услышат. А если тебя услышат, значит ты уже дерешь горло.

А что до опыта любви, о которой вы пишете, так ведь он, Андрей, очень краток по сравнению с громадной протяженностью жизни. Имею в виду страстную любовь к человеку. А опыт "трансцендентальной" любви – это опыт как раз людей, естественно-природно отвергших словоцентричную матрицу. Лишь отказ от нарциссизма (питаемого словесностью) дает возможность "пребывать в любви" – безвыборной и тишайшей, неназываемой и не кричащей о себе. Мы говорили о *понимании*. Но чтобы понять травинку, надо уделить ей свое абсолютное внимание, то есть надолго и совершенно забыть обо всем и всех кроме этой травинки. Человек слаб для любви-и-понимания. Он может выныривать к этому редко-дискретно, но и тогда это опыты незаурядные, ибо в принципе непродать. Итак, тихо пей свой чай жизни. Именно в этом ее смысл и блаженство истины: вход, где нет нужды в тщеславной заманке сакральным алфавитом. Сакрален именно не алфавит, равно как истинно сакральное ничуть не сакрально. Помните: подлинный Будда не есть Будда, он есть не-Будда. Тихо пей свой чай жизни. Ты не *здесь* именно потому, что всецело *здесь*. Но никто об этом не узнает, но и не должен узнать.

**Андрей Тавров:** Дорогой Николай Федорович, говоря, что мы находимся на разных «точках обзора» стихов и мира, Вы упускаете, как мне кажется, одно обстоятельство, весьма важное: во-первых, Вы сами пишете стихи, во-вторых, я практикую медитацию, в которой мысли и слова исчезают, и поэтому нам с Вами известны обе точки обзора – как внутри-стихотворная, так и вне-словесная.

Вы, уточняете, что, «сгущая краски» для наглядности, Вы говорите, в основном, о той социальной Матрице, которая сложилась как фундаментальная в 21 веке, но мне хотелось бы отметить, что в ней, как и в любой системе или организации, есть исключения, т.е. с прыжком Целана в Сену поэзия, точно, не кончилась, как не кончилась музыка, несмотря

на объявления об этом В. Мартынова, который, тем не менее, продолжает, противореча себе, сочинять все новые номера. Возможно, правда, что он не считает их музыкой. Когда поэзия кончится, солнце погаснет и некому будет сказать: слава Тебе, подарившему нам свет! Пока что такие люди, на мой взгляд, есть.

Насколько я понимаю, Ваша анти-логосная позиция заключается в том положении, что слово уводит от сути, называя, подменяет собой внесловесную реальность и реальность вообще, и поэтому на нем лежит некоторое проклятие как на убийце вещей и смыслов. Эта точка зрения, конечно же, не нова, у нас ее формулировал Тютчев: мысль изреченная есть ложь, а в более отдаленные времена примерно такой же подход отличал дзен-буддийских наставников. Однако один из них сказал что-то вроде следующего: «Слова все искажают, но если я перестану говорить, то мир рухнет и я буду проклят потомками». Несмотря на знание об искажающей функции слова, мастера дзен-буддизма продолжали говорить и писать, как и основатель буддизма, сам Будда Гаутама. Но ежели слова врут, то получается, что наставники Истины, проговаривая о ней нечто, специально вводили людей в заблуждение? Не думаю. Следовательно, какая-то надежда на то, что слово может выполнить функцию проводника к истине или указателя на истину и реальность, у них была.

Давайте остановимся на той функции слова, которая делает эту надежду действенной. Итак, слово искажает, и все же – не до конца.

Давайте предположим, что где-то, в некотором райском мире, слова не искажают или искажают по минимуму. Ведь если бы язык возник с функцией искажения мира, то вряд ли были бы возможны Пушкин, Шекспир, Библия, Махабхарата, Элиот, Целан. Значит, в нем сокрыт момент правды. Откуда же ему, присутствию правды, взяться в слове, в имени? Ибо язык, по мнению многих богословов и лингвистов, начался с имен. Вы вспоминаете стихи Библии и их интерпретацию у философов и богословов: «где, мол, Адам называл вещь, и она начинала бытийствовать». Но есть и другая версия интерпретации этих стихов, принадлежащая Сергею Булгакову.

Он говорит, что прежде чем назвать то или иное животное, Адам вслушивался в самую глубину существования этого животного и постигал ту его сущность, которая могла быть содержанием некоторой звуковой оболочки, относящейся к содержанию примерно, как перчатка хирурга – к его руке, и даже более того: *не было ни формы, ни содержания, а была суть животного при помощи «называния», звука, перекочевавшая из области сокровенно-закрытой, в область сокровенно-открытую* – первое имя, первое слово, назвавшее (услышавшее) суть того или иного зверя.

Далее Булгаков пишет, что слово – жилец двух миров: трансцендентального, вневременного, нематериального, истинного, и мира «внешнего», материального, твердого, и я добавлю, социализированного.

Т.е. слово – это мост между сущностью вещи и ее бытованием в качестве «объекта» в мире «твердых вещей», в том мире, который принято называть повседневным или бытовым. Но в любой бытовой вещи возможен светоносный исток точно так же, как и в имени, эту вещь называющем.

И для того чтобы приблизиться к сути вещи через слово, нужно погрузиться в слово, в имя, в котором спрятана информация о вещи. На лету ее не прочтешь. Ибо есть область, где вещь и слово – одно. Поэт, интуитивно или сознательно действующий подобным образом, не лжет, но называет, не искажая. Но чтобы отразить глубиннейшее, имени недостаточно. Мысль изреченная все-таки в нашем мире несет в себе некоторую степень искажения, внутреннюю заблокированность света первоисточника. Но тут-то и нужна как раз поэзия с ее жестом, музыкой, интонацией – вещами несловесными, способными выразить то, что не может выразить и назвать слово. Поэзия, с ее распевом, рифмой, музыкой, способна сказать о том, о чем слову терминологическому, слову-вербуму, сказать невозможно. Ведь все мы знаем ситуации, когда интонация богаче сказанного или даже противоречит сказанному. Такая интонация – достояние поэзии, и она способна в

сочетании со словом указать на неизрекаемое, на сакральное. Слово, работающее как плоть, пронизанная музыкой, интонацией, жизнью и страданием, Мандельштам называл «греческим» словом – логосом. И оно, кружась вокруг неназываемого, как птица вокруг башни, по выражению Рильке, может, сужая круги, это неназываемое выявить. Про слово-Логос можно сказать несколько грубовато, что одним концом оно упирается в вещь, вторым – в Бога, творца этой вещи. Но если конец слова, упирающегося в вещь, считывается легко, и мы к этому внешнему чтению привыкли, то вторая часть того же слова, углубленная в Бога (ох, простите за наглядность вопреки корректности), вторая его часть чаще всего ускользает от внимания поэта и читателя, ибо, как сказал Антоний Сурожский, а до него учителя церкви: написанное духом может быть прочитано только духом. Написанное во вдохновении (осознанности) лишь во вдохновении (осознанности) может быть прочитано и постигнуто.

Вы совершенно правы, на мой взгляд, когда говорите о том, что акцент сейчас падает на внешнюю часть слова, которая в поэзии стремится не к отсылке к сущности того, о чем идет речь, а к внешней эффектности и формальной новизне. Это поэзия внешняя, это попытка говорить о мире внешнем при помощи внешнего слова. Такое поэтическое говорение, конечно же, затемняет реальность и умножает количество поэтических формальных повторов, не проясняет мир, а затемняет его.

Но я убежден, что есть поэты, чувствующие глубину и мира, и слова, и пытающиеся работать на более тонких планах, чем основной эшелон.

У человека и у слова есть свой дом. У кого-то этот дом Будда или Христос, а у кого-то его вещи и жилище. То же самое и со словами – некоторые приходят с поверхности автоматизированной и машинальной речи – их дом в быту, на поверхности, а другие живут на глубине глубин и, поднимаясь оттуда к нашему привычно-внешнему миру, несут с собой мелодию и свет глубин.

Мне кажется, что поэзия и слово невозможны в этом мире и поэтому они есть.

Что касается любви – а страстная любовь имеет тот же источник, что и духовная, хоть и заблокирована в смысле света и его присутствия больше, чем первая – то выразить ее невозможно, Вы правы, но попытка сделать это – прекрасна. Эту попытку предпринимали автор «Песни Песней», автор «Псалмов», Фирдоуси, Данте, Пушкин и другие «вестники» – и, несмотря на «неудачи», везде в этих строках сохранился ее вечный вневременной ответ, то, что, имея в своей душе, певец отважно послал (или отразил), взывая из бездны, навстречу и в ответ любви неизреченной, что движет миры и Солнце.

Конечно, я только прикоснулся к теме...

**Андрей Северский:** Поэзия, многоуважаемый Андрей Михайлович, закончилась, конечно, не потому, что перестали писать стихи (вероятно, их будут писать и в раю, и в аду), а потому, что она ушла в слова, что эгрегор интеллектуализации настолько вошел в человека, что между словами не осталось воздуха, дали, пустоты, громады смыслов, которых нам никогда не познать. Ушло "несказанное", замененное на многозначительность всезнайства и на демонстрацию артистической виртуозности по всем составляющим. Стихи, лишившись "цимеса" (это можно сравнить с современной семьей: формально она есть, но фактически умерла, лишившись "начинки": сакрального статуса; как говорил Розанов: либо святая семья, либо пустая имитация), лишившись "не от мира сего" корневища, стали (точнее сказать, становятся) словесно самодовольны, а поэзия как раз и есть нечто, что не может быть затронуто "товарным" словом и что непричастно к товарной красоте. (Поэзия, которой аплодируют, – едва ли поэзия). Красотой сегодня мир торгует; в эпохи некоррупционные красота была бытием, красота и благо бытия совпадали. Это фундаментальное различие. (В нашей поэзии "золотого века"

мы этот феномен бытийной красоты еще видим, в XX веке он неожиданно оживает, например, в стихах Арсения Тарковского и в кинокартинах его сына. Этот краткий список можно, конечно и к счастью, продолжить).

1

Поэзия заканчивается (смягчим удар) потому, что сама художественность сегодня истрачена, изношена до дыр. Именно потому это и произошло, что художественность (как форма артистической игры) стала самоценностью. Она служит сама себе. Следовательно, она развлекает и забавляет. А как иначе, если она не исходит из религиозной серьезности. Подозреваю, что нынешняя художественность во всех сферах абсолютно внерелигиозна. И не только по сути, но даже и по форме. Посмотрите, как ставят оперы Вагнера: это же кощунства, не оправдываемые даже самым злостным невежеством. Художественность почти во всех искусствах деградировала до уровня почти шарлатанского. (Возьмите киноиндустрию или живопись). Уже в восьмидесятых годах прошлого века внезапно даже в нашей стране началась эпоха заискивающего искусства (особенно это бросалось в глаза в театре), этакое обязательное вполне официантское "чего изволите?". Стала ли поэзия исключением из этого всеобъемлющего процесса? Молодые люди говорят о "новой продажности", более умело подаваемой. Быть может, умирает сама возможность поэзии, как умирает возможность семьи. Семья и поэзия могут быть только *святыми*. (В терминологии Розанова). То есть поэзия не может стать формой услуги, если она желает сохранить свою сущность. Открытая семья, семья распахнутая, семья, переставшая быть формой осознанной аскезы, где двое заняты тайной алхимией Освобождения, становится, по выражению всё того же Розанова, лжесемьей. Поэзия тоже утрачивает вот эту содержательную часть. (Есть одно-единственное бездонное содержание мира – Бог, и он же единственное свободное Существо). Мне кажется, сама плоть слова стала избыточной, вытесняя душу, слово стало фантастически материализованным, стянув внимание на свою плотскость и внешнюю эффектность. Что хранит дух, пребывающий внутри материи, пронзающий материю извне невидимыми эманациями? Целомудрие, чистоту, наивность. Всё это почти ушло из современного слова, сориентированного на изошренность (неопровержимый симптом тщеславия) и на поклонение интеллектуальным проекциям. Кто-то будет спорить? Да, реликты есть, но это именно реликты, подобно тому, что где-то, возможно, в каком-то отдаленном скиту и живет еще последний православный старец. Стремительное духовное оскудение человечества прямо пропорционально его интеллектуальному расцвету; равно ни для кого не секрет, что все наши разговоры о *чане* и *дзэне* праздны, ибо настоящих адептов чаня уже (или почти) нет: современный человек не выдерживает той аскезы, которая потребна для полного изгнания из ума и сердца всего, что связано с интеллектуальным матрицированием всего и вся. Чаньские мастера не только не учили словом, но всё обучение как раз и заключалось в побуждении ученика забыть законы человеческой речи и мышления, если ты хочешь прикоснуться к истине, войти в ее поток. В этом как раз и суть практики коанов, о которых столько фантазий среди светской публики. Коан нельзя решить, не отказавшись полностью от своего ума (не путать со сверх-умом), который, само собой движется по законам нашей речи. Много лет ученик проводит с учителем в молчании: не нарочитом, но абсолютно естественном; в этом суть. И вот получает коан: пробный экзамен, по которому легко определить, вышло ли восприятие ученика на уровень безмолвного знания, на уровень спонтанно-интуитивного постижения того, что *есть*. Решить коан – значит пробудиться от мирового Сна, навязанного нам словоцентричной матрицей, которой руководит интеллект. Ну да, чаньцы не становятся глухонемыми, но слова работают здесь лишь в поле служебно-обыденного, бытового. Из-под слова и речи выбивается весь пафос, вся толща "руководящей" и поучающей претенциозности, то есть многотысячелетняя толща плотной решетки, закрывающей *чистое* видение. (Чистое от громады готовых мнений и концепций, в которой мы как в тюрьме).

Чаньский мастер на всякий вопрос отвечает молчанием, а если вопрос от сердца, а не от праздного ума, он молча делает какой-нибудь жест, например указывает на луну, или на дерево, или на лужу, переводя еще не затихший инстинкт рефлексии ученика в бытийный план. Чань/дзэн – искусство не просто безмолвия, но почти полного стирания словесной матрицы; в этом начало и конец громадной эпохи в истории человечества, о которой мы знаем именно благодаря *чань*. То была эпоха естественной (внеидеологической, неконцептуальной, внесловесной) религиозности, где слова выполняли скромную служебно-бытовую роль и ничуть не претендовали на большее. Человек постигал внутреннюю сторону реальности интуитивно-целостно, что и есть бытие человека просветленного. Меряться внутренними (молчаливыми) постижениями, соревноваться – невозможно, так сохранялась чистота: и познания, и пребывания, и присутствия. Институт слова как главной площади, главного ристалища и главного инструментария вводит в социальные отношения соревновательность и искусство блефа, обмана, симуляций. (Что и заметил Бодрийяр). Это происходило и происходит неизбежно. Равно и Будда Гаутама (один из величайших поэтов Востока) не только не написал за свою жизнь ни единой строки, но обучал прежде всего молчанием. Речи его были кратки и обращены к уже просветленным, так что, например, "Алмазную сутру" (диалог с Субхути, просветленным учеником), способен понять тоже только просветленный. А суть своего тайного учения он (кто ж этого не знает) обозначил как *внесловесную* передачу истинного знания: "от сердца к сердцу".

2

Поэзия как искусство словесной игры, я полагаю, никогда не умрет. Но ведь Мартынов (вослед за другими хранителями традиции) говорит не об этом. Он говорит, что в истории Европы был короткий период авторского искусства (музыки и поэзии), полноценно возросшего именно на сакральной традиции и за три-четыре века (может быть чуть больше) истратившего творческие возможности этого произрастания-диалога. Далее пошла деградация именно потому, что чувство сакрального умерло: и в социуме, и в отдельном человеке. Да, композиторы и поэты все еще пишут, но они не догадываются о том, что их сочинения небытийны (относятся к жизни, но не к бытию), фантомны, ибо дышат и сочиняют композиторы и поэты в пространстве (в хронотопе) профанном, сугубо психологическом и фантазийном, где оборвана связь со священным измерением, то есть с бытием. Они открывают рот, но космос их не слышит. Контакт кончился, аккумуляторы сели.

А все претензии поэтов на автоматически сакральный статус только потому, что, мол, слово божественно (теза, бурно пропагандировавшаяся Бродским, взявшим ее у Одена) – сущая наивность. Тогда давайте считать речи Гитлера причастными к Дхарме. Речь и слово никакой генетической связи с Логосом (с тем древним, который был в Начале) не имеют. Древний (а не новейший логически-рационально-понятийный) Логос был, есть и останется никак не Словом, а изначальным непостижимым и невыразимым истоком тишины и безмолвия, что великолепно показал германский мастер, опираясь на древнейшие интуиции Гераклита. Еще Василий Васильевич Розанов пенял христианству на то, что оно подменило живое присутствие Христа на словесность, на богословие. Он так и писал: слово убило живую жизнь. (Любопытна в этой связи другая гипотеза Розанова: именно литература погубила Русское царство, ибо все лучшие силы нации ушли в словесность. И это не так глупо и абсурдно, как может показаться сгоряча). Это, кстати, хорошо понимали наши православные святые, прямо указывавшие, что для них богословие – это не словесные комментарии к Священному писанию, а живое созерцание Бога в своей душе.

Между прочим, Андрей Михайлович, я никогда не объявлял свою позицию анти-логосной, но именно: анти-панфилогической, что не только не одно и то же, но прямо противоположно. Современное слово, речь уже почти предельно обмирщены, существуя

долгое время в исключительно профанных контекстах. А контексты "священные", если даже иногда и возникают, то существует всецело в игровых, театрално-фантазийных либо научно-интеллектуальных речевых модусах. В их подлинную священность никто не верит. (Вот почему, кстати, мы не сумеем увидеть богов, даже если они появятся). Так вот, если поэзия есть прикосновение к невыразимому, к тому, что не подлежит власти интеллекта, но всецело принадлежит душе, которая в свою очередь не существует вне общения с атманом, то она страшится материального блеска и натиска. Её власть – намекать, а не производить впечатление. Поэзия, рождающаяся на границах со святостью (вспомним вновь наш золотой век), есть хрупкая субстанция, легко исчезающая, как сельский родник, чуткий на малейшие изменения среды и ментальных вибраций тех существ, которые с ним соприкасаются. Он уходит порой как бы без всякой внешней причины: настолько эта причина уже недоступна пониманию человеку, чье внимание к существу стало катастрофически ничтожным. Ибо всё внимание переташили на себя слова. В мир вброшено слишком много слов, чтобы он мог устоять. Количество вброшенных слов убивает сознание людей. Количество вбрасываемых в обиход стихотворений убивает поэзию. Девальвация. Претензия особей на креативность разрушает пейзаж до основания. Впечатление такое, что уже дурь правит миром, ибо креативен Один-единственный и Одно-единое. Претензия на "креативность", сама эта установка делает невозможным полноценный процесс того *восприятия*, которое поэт называл "вслушиванием и послушанием".

3

Меня неизменно удивляло, что странно "перевернутое" представление Бродского о взаимосвязи этики и эстетики никогда не подвергалось серьезной критике. Напротив, я видел и слышал вокруг себя только согласие с ним и одобрение. Вообще как оно пришло ему в голову? Не была ли теза о первенстве эстетики (игры словесных форм) над этикой (и соответственно над космической истиной, над законом Дхармы) следствием наблюдательности его ума? Скажем, он рано заметил, что в современной ему социумной реальности (а иная его и не интересовала) эстетически совершенный продукт (выточенный по всем хрестоматийно-рыночным лекалам) принимается моментально и независимо от возможных взвешиваний на всех иных весах (этических, духовных). Более того, эстетически эффектное, красивое автоматически приравнивается к этически и интеллектуально значимому. И более того: эстетически прекрасное навязывается обществу в качестве критерия для всех этических оценок и императивов. Этическое по факту рабствует перед эстетическим: в современном торгашеском муравейнике. Куда же в этой парадигме движется поэзия, да и всё искусство?

Всё на земле живет благодаря своему духовному потенциалу. Даже самые простые вещи. Поэзия некогда имела свой высокий статус не по причине красивых фиоритур, а вследствие того, что была она духовным искусством, во всяком случае время от времени она порождала тех, кто интуитивно ощущал в ней посох-помощник для продвижения по пути Освобождения: а) из тюрьмы общественной матрицы и б) из тюрьмы эгосамости, а проще говоря нарциссизма, поразившего ныне всю цивилизацию. Вирус страшнее всех других.

Почему религиозный канон был общепризнан изначально и не подлежал модернизациям? (Как метод). Потому что при заботе об освобождении из двух этих тюрем люди: а) не соревнуются друг с другом, не меряются тщеславием и б) не развлекают друг друга, ибо заняты серьезнейшим делом. Искусство когда-то (бессознательно) стремилось к канону именно по этой причине. (А еще потому, что интересовалось содержанием мира: Богом, а не формами своего ума). Поэзия ныне в качестве мейнстрима (реликтовые монады будут до самого конца) превращается в виртуозную игру, тем самым порывая с изначальной духовной пуповиной. Ныне она является не духовным искусством, а, увы, скорее развлечением, подобным преферансу или автомобильным гонкам. (Понятно, что



поэзия не исключение, такова участь всех искусств; поэзия, кстати, держалась за дхарму дольше всех). Тот же так называемый минимализм в музыке второй половины двадцатого века, минимализм Джона Кейджа и Владимира Мартынова связан не с борьбой с пафосом или "красноречием" (хотя и это тоже), а с попыткой вырваться из объятий социальных шумов и тщеславных "авторских" эгоамбиций (со всё теми же двумя демонами, запирающими наше сознание в чулан омраченности) и вернуться к той естественной природной музыке, которой всегда жило сознание первобытных, то есть близких к саттееюге людей. (Возьмите архаические культуры, ту же Индию, музыка там извлекаема скорее из природного резервуара, чем из психики человека. Само искусство здесь в лучших своих образцах имеет целью *подготовить сознание* человека к восприятию музыки самих природных вещей). Ведь даже еще Лин и Орфей "исполняли" природную музыку, входя в единение с космосом, не пробуждая в себе зверя тщеславной самости.

4

Будь бы я молодым человеком, я бы выбросил сегодня манифест примерно такого содержания. Друзья, потребуем от искусства обновления. И притом очень простого. Началом должен стать решительный, исполненный религиозной серьезности отказ от употребления слов, за которыми не стоят реалии, пережитые тобою глубоко и лично, духовно и тактильно. Всё феерическое, подцепленное из книг, интернета, СМИ, из разного рода болтовни должно быть опущено как чужое и тебе не принадлежащее, как полое и бутафорское. Вся сфера воображения должна быть поставлен под жесткий и ироничный контроль, а лучше: изъята как морок, обман, предательство и блуд. Я имею в виду воображение как поставщик полых слов и сюжетов, как заманное поле горделивости виртуальным всевластием. Ни одно действие, даже самое архаически простое и всем из литературы известное, скажем сев хлебов, не может быть тобою описано, если ты сам в этом не участвовал или не наблюдал как свидетель. А если был свидетелем, то твоя свобода ограничена именно этим свидетельством и у тебя нет дхармического права переходить границу и блефовать. Надо вернуться к прямому исповеданию того, *что есть*, что именно сейчас в тебе (а не в твоём уме или воображении) происходит, то есть вернуться к бедности. Прочь от фантомов, от аллюзий, от гиперметафор и гирлянд ассоциаций! Художественность как форма заискивания (перед "потребителем") должна быть поставлена под великое сомнение. Назад к реальности из сферы фэнтези-безберегов! Вернемся к простоте и "первобытной" в себе наивности. Прекратим меряться начитанностью. Ну и т.д. Наивно? Всякий манифест наивен и неисполним.

Послушаем кое-что о человеческой речи, сказанное нашими первопредками. «Поэтому Речь никогда не звучит, присоединяясь к выдыханию. Звучащей рожденная или беззвучно-безмолвной, она всегда *пребывает*. Но из этих двух безмолвная лучше звучащей; как дойная корова она, богатая, превкусные вещи источает. Она постоянно течет, возвещая о Вечном Брахмо; дивная дивным возникновением, ясноулыбная, она есть небесная дойная корова. Между этими двумя тонкими сутями, в их текучести постигни различие!..» Это из древнеиндийской "Анугиты". Ей, вероятно, чуть не миллион лет. Скажите мне, вот эта "безмолвная Речь" могла ли пробавляться виртуальными и декорационными зазывами? Разве она не была реальна? Разве она не есть именно-таки Логос? Тогда отчего же, перейдя полностью и окончательно в явленную, непрерывно громыхающую речевую обитель, мы только тем и заняты, что *фантазируем*? Нас перестало волновать то, что *есть*; мы взволнованы своими измышлениями, мы уперлись в свое эго вместо того, чтобы войти в свой атман.

5

Все помнят фразу Т. Адорно о том, что невозможно писать стихи после Освенцима. Целан сделал для себя поправку: после того, что *они* сделали с моими родителями, я не могу и не хочу писать красивые стихи, тем более по-немецки. В этом семя трагедии сознания

Целана. Ингмар Бергман сформулировал бессмысленность занятий искусством иначе. Но если вернуться к сути формулы Адорно, то она ясна как день и не только сохраняет всю свою силу сегодня, но и вопиет. Дело не в том, словно бы говорит Адорно, что кто-то запретит молодежи писать стихи. Пишите, ради Бога, но помните, что красота нашего эона (который за окном) лжива, помните, что я, читатель, не верю, что вы порядочный, благородный человек только потому, что у вас прекрасные манеры (или модные прикиды) и вы прочли Шекспира, Гёте, Томаса Манна и прослушали всего Моцарта, Малера и даже Баха. Вы – паяц, пустое место, вы – участник потенциальных полчищ гуннов, ваши стихи – обман и заманка, попытка притупить мою "охотничью" бдительность. Ваш орех полый, – говорит Адорно, – выгнивший давно. И вот вы раскрашиваете свой товар в тысячу расцветок. Из искусства изъята онтологическая начинка, изъято содержание и смысл мира – Бог. Остались только формы. Пустышки. Искусство старых времен жило обеспечением его внутренним ресурсом безусловной нормы человеческой порядочности. Когда этот ресурс уничтожен, взорван, наше доверие к субъекту искусства – нулевое, он нам неинтересен, поскольку он не онтологичен, он не в дхарме, то есть не связан с Центром универсума, не обеспечен его доверием. Он паяц, толкующий священный долг согласно своей сиюминутной волчьей выгоде. Он не несет норму, меру, центр и честь. Он полая кукла, он актер, к тому же жадный до аплодисментов. Примерно так (много короче) сказал бы Адорно. И в самом деле, вне служения дхармическому Закону, вне чувства долга, определенного древнейшим законом, Первохозяином мира, занятия искусством проваливаются в пустоту. Поэзия в качестве не цирка (словесного), а творчества есть искусство возрождения своей души. И не что иное. Во всяком случае применительно к нашему времени, я думаю, это так и не иначе. Все остальные определения: с позиций интеллектуальных и эстетических – не более чем упражнения в красноречии. Если ты не занят с утра до ночи и с ночи до утра возрождением своей съеденной молью души – ты не поэт. (Так сказал бы я в рамках гипотетического манифеста). Если в твое ухо не дышит Господь – ты не поэт. Если тебе не стыдно за себя – ты не поэт. Где уверенность, что пишущий стихи (то есть любой из нас) сам уже (не зная того, не догадываясь) не является симулякром и фальсификатом, ведь стихи нынче с головой укрыты в форму, в заведомо красивые, заведомо многослойные, с толщами аллюзий обертки, ни слова в простоте. А всё потому, что необходимо скрыть отсутствие начинки: содержания. Его потеряли еще в начале XX века. Где есть содержание, о форме не пекутся.

По большому счету, нынешнее искусство не имеет причин для существования, поскольку человек исчез. На его месте – симулянт, в нем ничего настоящего, своего, он перекачен, из него льется закачка. Потому-то он полагает себя: а) всезнающим, почти мудрым, б) креативным. Мне вспомнилась байка из романа Николая Лескова. Жил в Иерусалиме очень умный человек, выучивший наизусть сто самых мудрых книг мира. И захотелось ему померяться знаниями с мудрецом. Нашел он его в пустыньке, представился и гордо сообщил, что знает наизусть сто самых лучших древних книг. Мудрец посмотрел на него внимательно и внятно произнес: "Дурак!" Ученый вспыхнул, схватил палку и стал дубасить мудреца. Тот заплакал. "Ах, тебе наконец-то больно!" – торжествовал всезнайка. "Да нет, – отвечал мудрец, – я плачу, потому что мне тебя жаль: я сказал всего одно слово, и ты сразу забыл всю мудрость всех своих ста книг..." В притче словно бы дан портрет нашего современного интеллектуала.

Если просто посмотреть на современное влечение к изобилию: к безграничному словарю, к интеллектуальной плотности, к аллюзивной изощренности и т.д., то становится жутковато от этого влечения к материальному, к интеллектуальной (мозговой) силе, ибо за этим еще один виток *бегства из идеализма*, цитадели русского искусства. Оукливание в материальном сегодня реализуется в эстетическом жесте. Душа же ищет жест этический, жест в пространстве дхармы, но его нет. Ибо он не существует в формах товарной красоты. Та сила, которая так или иначе держит нас на контроле (а я полагаю, что такая сила существует), оценивает нас вовсе не по нашим эстетическим товарным фабрициям,

а по целостно-совокупному нашему модусу пребывания. Скажу наивность: мне, например, категорически непонятны заявления типа "это уже было", "эти мысли с бородой", "в этом нет новизны" и т.п. (разумеется, к вам это никак не относится; это просто общий ментальный фон). Почему в разговоре о смысле и содержании мира должна быть новизна? Новизна даже в формах нормального, не чванного и не пусто-развлекательного искусства (хороводы, обрядовые празднества, совместное "народное" пение и т.д.) никогда не была предметом спроса. И не из-за недостатка "танталов". Поиск новизны форм и сама их экстенсивная жажда есть симптом излома в душах, исковеркание их изначальной настройки на тот порядок (космос), где вслушивание в голос дхармы (дао) было центрирующим ритмом. Стягивание внимания со "что" на "как", с Бога на фигуру транслятора, превращение его в артистическую самооценку стало злоедей и погубительной мутацией. Которой мы все в разной степени, увы, подвержены. Как дети, мы не способны долго удерживать вниманием что-то одно. Нам скучно. Но разве это нормально? Разве мир погибает не от мировой Скуки?

**Андрей Тавров:** Николай Федорович, с критической стороны Вашего письма или поста во многом можно согласиться, неважно, «сгущаете Вы краски» или нет – все сказанное об упадке культуры, об антропологической катастрофе, о девальвации понятия «поэзия», – по большей части мне близко, и я радуюсь тому, что есть собеседник, который говорит о кризисе и болезни цивилизации и культуры столь сильно и столь открыто. Но мне хотелось бы вернуться к некоторому равновесию, которое, как мне кажется, скрывается в любой мировой ситуации, ибо космос и природа, даже людская, обнаруживает стремление к избеганию крайностей.

Да, кризис совершается, да, нас обступают вещи неприятные, порой страшные и убийственные, да, деградация и пошлость растут, а культура скудеет на глазах, но все же это не вся правда. Все же следует признать, что в истории обществ существует одновременно два потока – нисходящий и восходящий. И пусть обличье нисходящего потока ярче, эффектней, безусловней, наглядней и убедительней, но это не значит, что этой силы достаточно, чтобы сделать поток восходящий, скромный, почти незаметный, часто сокровенный – недейственным, недействующим или недействительным. Он был всегда, в той или иной степени, и именно его действие определяет историю даже в самых печальных ее изгибах.

Вы пишете о кризисе поэзии в целом, а, если быть точнее, то – о конце человека и о конце поэзии (это из Вашего письма). И если мыслить глобально, то опять-таки Вы правы. Но дело в том, что глобальные сообщества и глобальные события состоят из личностей. Я знаю, что это понятие для Вас почти тождественно «эгоистической личности», но для меня это не так. Личность можно определить, вспоминая работы Н. Бердяева, как то, что о человеке думает Бог. Исходя из этого определения, я продолжу.

Парадокс состоит в том, что справедливо звучащее в глобальном масштабе перестает быть справедливым в тот момент, когда вы говорите (или молчите) с человеком один на один. В таком общении или в таком диалоге вы обязательно увидите в человеке то, что противоречит Вашей фразе о «конце человека». Заглянув в глаза не отвлеченному «человеку», а живому, даже незнакомому, особенно в ситуации доброжелательного диалога, Вы обнаружите там некое присутствие, некоторый неименуемый фактор, некоторого «внутреннего человека», который делает опрометчивым высказывание о полной деградации культуры, конце поэзии и конце цивилизации. Есть почти в каждом из нас/них то, что мы способны воспринять не как другого, а как самих себя на определенной духовной глубине, где дробный составной человек исчезает, а есть человеческое единство, никак не тождественное глобальной сумме участников цивилизационного прогресса, а точнее, регресса и предназначенное к бессмертию.

Поэтому мне кажется, что в сегодняшней ситуации стоит говорить не о всеобщем кризисе как вещи справедливой, но отвлеченной, а о личном действии каждого из нас, а еще точнее, поскольку речь идет о поэзии, – о личном поэтическом действии каждого из нас. Вопрос может быть таким – что со мной происходит на фоне гёльдерлиновского утверждения «поэтично живет человек на земле»? Что для меня поэзия – словесная и бессловесная, та, что присутствует в восходе солнца, в первом дожде, в дереве, стоящем у дороги, в источнике, в человеческом взгляде?

Так или иначе, почти любой человек переживал поэзию и действовал поэтически, ибо вместе с образом Высшего в человека вложено поэтическое чувство. Так вот, что именно я, а не он, собираюсь делать, чтобы это чувство во мне не умерло, но росло и развивалось. Это ветвь восходящего потока, и я никак не могу заставить кого-то кроме себя придерживаться именно ее, а не обратного ей движения, которое человек так часто выбирает. Замечу, что оба этих потока, восходящий и нисходящий, идут не только через века истории, но и через каждого из нас в течение жизни.

Когда Вы говорите о том, какова есть поэзия в высшем смысле этого слова, Вы говорите о Рае на земле, в котором как в среде обитания никто из великих творцов за последнее время не пребывал – ни Гомер, ни Пушкин, ни Ван Гог. Многие жили в хаосе, в войне, в нехватке. И все же они побывали в Раю и прикоснулись к «солнцу любви», опираясь на внутриличностные духовные ресурсы, на Тайну, откликнулись на сверхъестественное, превосходящее их возможности.

Мы давно живем во времена нехватки. У того идеального поэта, поэта-жреца, к которому вы постоянно отправляете читателя, такой нехватки нет, но в новом мире почти все истинные творцы проделывали бросок, преодолевающий нехватку, и делали они это, опираясь не на свои силы, а на дыхание Высшего – вдохновение, интуицию, прозрение. Гармония достигается прорывом, а тяга к такому прорыву вложена почти в каждого художника. Не каждый, а даже и мало кто идет на этом пути до конца, но возможность открыта для каждого. «Стихотворение, – говорит Симона Вейль, – должно значить что-то и в то же время ничто – ничто, которое свыше».

Итак, стихотворение в Новое время, как бы это ни противоречило образу «безмолвного» поэта-жреца, являет собой что-то, некую форму, оно что-то значит в условиях современности, плюс оно состоит из «ничто», которое свыше. И если в нем есть это живое ничто, то формы его выражения могут быть самыми разными, ну, как примерно, внешность у верующих – они могут быть красавцами или инвалидами, это не мешает им оставаться людьми в полном смысле этого слова, ежели они честны с собой и находятся на пути искреннего духовного развития.

И тут дело не в том, много ли метафор в стихотворении, как у Гонгоры или Джона Донна, или мало, дело не в том, правильная ли молитва у верующего или это молитва средневекового фокусника, жонглирующего перед изображением Богородицы, вместо множества слов, – у каждого есть свой путь речения, путь поэзии, путь стихотворения. Басе обходился без метафор, а Хуан де ла Крус нет. Это неважно, в какой одежде мне удобнее высказываться, это дело вкуса и внешности, которая может быть и сложным деревом, и простым стихотворением, и чайкой – все они наполнены Жизнью. Важно, мешает ли мне "одежда" писать стихи с живым ничто в их составе или нет. Думаю, что красивый святой ничем не лучше уродливого святого, но и не хуже. Внутренний свет способен просквозить и поэзию метафор, и «скромное стихотворение», был бы он в наличии.

Ремесло поэта все же отличается от «ремесла святого». Святому стихи, по большому счету, ни к чему, а поэту стихи – суть жизни с ее Ничем.

Забавно, впрочем, что, говоря о священном безмолвии и деградирующем словесном избытке, мы тратим на этот разговор столько слов и времени. Но истина в условиях пространства-времени, причин и следствий – противоречива, поэтому я не смущаюсь и думаю, что кое-что высказал не зря.

К тому же не стоит забывать об игровом свойстве стиха – поэзия играет вместе с морем и Небом. Если бы земля и небо лишь серьезничали, поэзия их была бы бесчеловечной. А главное, тот итог, который я бы хотел подвести, думаю, что в своем последнем письме диалога, – я спрашиваю себя: какое участие я принял в деле поэзии, в моем личном поэтическом действии, стремлюсь ли я идти глубже, убрал ли я свой эгоизм из стихотворения, достаточно хорошо ли я вслушиваюсь в пульс мира? Словом, совершенствую ли я свое ремесло?